

Леонид Пантелеев

МАРИНКА

С Маринкой мы познакомились незадолго до войны на парадной лестнице. Я открывал французским ключом дверь, а она в это время, возвращаясь с прогулки, проходила мимо, вся покрасневшая, утомлённая и разгорячённая игрой. Куклу свою она тащила за руку, и кукла её, безжизненно повиснув, также выражала крайнюю степень усталости и утомления.

Я поклонился и сказал:

- Здравствуйте, красавица.

Девочка посмотрела на меня, ничего не ответила, засопела и стала медленно и неуклюже пятиться по лестнице наверх, одной рукой придерживаясь за перила, а другой волоча за собой несчастную куклу. На площадке она сделала передышку, ещё раз испуганно посмотрела на меня сверху вниз, облегчённо вздохнула, повернулась и, стуча каблучками, побежала наверх.

После этого я много раз видел её из окна во дворе или на улице среди других детей. То тут, то там мелькал её красный сарафанчик и звенел звонкий, иногда даже чересчур звонкий и капризный голосок.

Она была и в самом деле очень красива: черноволосая, курчавая, большеглазая, - ещё немножко, и можно было бы сказать про неё: вылитая кукла. Но от полного сходства с фарфоровой куклой её спасали живые глаза и живой, неподдельный, играющий на щеках румянец: такой румянец не наведёшь никакой краской, про такие лица обычно говорят: «кровь с молоком».

Война помогла нам познакомиться ближе. Осенью, когда начались бомбёжки, в моей квартире открылось что-то вроде филиала бомбоубежища. В настоящем убежище было недостаточно удобно и просторно, а я жил в первом этаже, и, хотя гарантировать своим гостям полную безопасность я, конечно, не мог, площади у меня было достаточно, и вот по вечерам у меня стало собираться обширное общество - главным образом дети с мамами, бабушками и дедушками.

Тут мы и закрепили наше знакомство с Маринкой. Я узнал, что ей шесть лет, что живёт она с мамой и с бабушкой, что папа её на войне, что читать она не умеет, но зато знает наизусть много стихов, что у неё шесть кукол и один мишка, что шоколад она предпочитает другим лакомствам, а «булочки за сорок» (то есть сорокакопеечные венские булки) - простой французской...

Правда, всё это я узнал не сразу и не всё от самой Маринки, а больше от её бабушки, которая, как и все бабушки на свете, души не чаяла в единственной своей внучке и делала всё, чтобы избаловать её и испортить. Однако девочка была сделана из крепкого материала и порче не поддавалась, хотя в характере её

уже сказывалось и то, что она «единственная», и то, что она проводит очень много времени со взрослыми. Застенчивость и развязность, ребёнок и резонёр сочетались в ней очень сложно, а иногда и комично. То она молчит, дичится, жмётся к бабушке, а то вдруг наберётся храбрости и затараторит так, что не остановишь. При этом даже в тех случаях, когда она обращалась ко мне, она смотрела на бабушку, как бы ища у неё защиты, помощи и одобрения.

Между прочим, от бабушки я узнал, что Маринка ко всему прочему ещё и артистка - поёт и танцует.

Я попросил её спеть. Она отвернулась и замотала головой.

- Ну, если не хочешь петь, может быть, спляшешь? Нет, и плясать не хочет.

- Ну, пожалуйста, — сказал я. - Ну, чего ты боишься?

- Я не боюсь - я стесняюсь, - сказала она, посмотрев на бабушку, и, также не глядя на меня, храбро добавила: - Я ничего не боюсь. Я только немцев боюсь.

Я стал выяснять, с чего же это она вдруг боится немцев. Оказалось, что о немцах она имеет очень смутное представление. Немцы для неё в то время были ещё чем-то вроде трубочистов или волков, которые рыщут в лесу и обижают маленьких и наивных Красных Шапочек. То, что происходит вокруг - грохот канонады за стеной, внезапный отъезд отца, исчезновение шоколада и «булочек за сорок», даже самое пребывание ночью в чужой квартире, - всё это в то время ещё очень плохо связывалось в её сознании с понятием «немец».

И страх был не настоящий, а тот, знакомый каждому из нас, детский страх, который вызывают в ребёнке сказочные чудовища - всякие бабы-яги, вурдалаки и бармалеи...

Я, помню, спросил у Маринки, что бы она стала делать, если бы в комнату вдруг вошёл немец.

- Я бы его стулом, - сказала она.

- А если стул сломается?

- Тогда я его зонтиком. А если зонтик сломается - я его лампой. А если лампа разобьётся - я его калошей...

Она перечислила, кажется, все вещи, какие попались ей на глаза. Это была увлекательная словесная игра, в которой немцу уделялась очень скромная и пассивная роль - мишени.

Было это в августе или в сентябре 1941 года.

Потом обстоятельства нас разлучили, и следующая наша встреча с Маринкой произошла уже в январе нового, 1942 года.

Много перемен произошло за это время. Давно уже перестали собираться в моей квартире ночные гости. Да и казённые, общественные убежища тоже к этому времени опустели. Город уже давно превратился в передовую линию фронта, смерть стала здесь явлением обычным и привычным, и всё меньше находилось охотников прятаться от неё под сводами кочегарок и подвалов.

Полярная ночь и полярная стужа стояли в ленинградских квартирах. Сквозь заколоченные фанерой окна не проникал дневной свет, но ветер и мороз оказались ловчее, они всегда находили для себя лазейки. На подоконниках лежал снег, он не таял даже в те часы, когда в комнате удавалось затопить «буржуйку».

Маринка уже два месяца лежала в постели.

Убогая фитюлька нещадно коптила, я не сразу разглядел, где что. Сгорбленная старушка, в которой я с трудом узнал Маринкину бабушку, трясущимися руками схватила меня за руку, заплакала, потащила в угол, где на огромной кровати, под грудой одеял и одежды теплилась маленькая Маринкина жизнь.

- Мариночка, ты посмотри, кто пришёл к нам. Деточка, ты открой глазки, посмотри...

Маринка открыла глаза, узнала меня, хотела улыбнуться, но не вышло: не хватило силёнок.

- Дядя... - сказала она.

Я сел у её изголовья. Говорить я не мог. Я смотрел на её смертельно бледное личико, на тоненькие, как ветки, ручки, лежавшие поверх одеяла, на заострившийся носик, на огромные ввалившиеся глаза - и не мог поверить, что это всё, что осталось от Маринки, от девочки, про которую говорили: «кровь с молоком», от этой жизнерадостной, пышущей здоровьем резвушка.

Казалось, ничего детского не осталось в чертах её лица.

Угрюмо смотрела она куда-то в сторону - туда, где на закоптелых, некогда голубых обоях колыхалась витиеватая тень от дымящей коптилки.

Я принёс ей подарок - жалкий и убогий гостинец: кусок конопляной дуранды, завернутый, красоты ради, в тонкую папиросную бумагу. Больно было смотреть, как просияла она, с каким жадным хрустом впились её мышинные зубки в каменную твердь этого лошадиного лакомства.

Воспитанная по всем правилам девочка, она даже забыла сказать мне «спасибо»; только расправившись наполовину с дурандой, она вспомнила о бабушке, предложила и ей кусочек. А подобрав последние крошки и облизав бумагу, она вспомнила и обо мне - молча посмотрела на меня и холодной ручкой дотронулась до моей руки.

- Бабушка, - сказала она. Голос у неё был хриплый, простуженный. - Бабушка, правда, как жалко, что, когда мы немножко больше кушали, я не спялала дяде?

Бабушка не ответила.

- А теперь что, не можешь? - спросил я.

Она покачала головой:

- Нет.

Бабушка опустила на стул, заплакала.

- Боже мой, - сказала она, - когда это всё кончится только?!

Тут произошло нечто неожиданное. Маринка резко повернулась, подняла голову над подушкой и со слезами в голосе закричала:

- Ах, бабушка, замолчи, ты мне надоела! «Когда это кончится?!» Вот всех немцев перебьют, тогда и кончится...

Силёнки изменили ей. Она снова упала на подушку. Бабушка продолжала плакать. Я помолчал и спросил:

- А ты немцев всё ещё боишься, Маринка?

- Нет, не боюсь, - сказала она.

Пытаясь возобновить наш старый шуточный разговор, я сказал ей:

- А что ты станешь делать, если, скажем, немец вдруг войдёт в твою комнату?



Она задумалась. Глубокие, недетские морщинки сбежали к её переносице. Казалось, она трезво рассчитывает свои силы: стула ей теперь не поднять, до лампы не дотянуться, полена во всём доме днём с огнём не найдёшь.

Наконец она ответила мне. Я не слышал. Я только видел, как блеснули при этом её маленькие крепкие зубки.

- Что? - переспросил я.

- Я его укушу, - сказала Маринка. И

зубы её ещё раз блеснули, и сказано это было так, что, честное слово, я не позабыл бы тому немцу, который отважился бы войти в эту холодную и закоптевшую, как вигвам, комнату.

Я погладил Маринкину руку и сказал:

- Он не придёт, Маринка...

Много могил мы вырубали за эту зиму в промёрзшей ленинградской зем-

ле. Многих и многих недосчитались мы по весне.

А Маринка выжила.

Я видел её весной сорок второго года. Во дворе на солнышке играла она с подругами... Это была очень скромная, тихая и благопристойная игра. И это были ещё не дети, а детские тени. Но уже чуть-чуть румянились их бледные личики, и некоторые из них уже прыгали на одной ножке, а это очень трудно - держаться на одной ноге: тот, кто пережил ленинградскую зиму, поймёт и оценит это.

Увидев меня, Маринка бросилась мне навстречу.

- Дядя, - сказала она, обнимая меня, - какой вы седой, какой вы старый...

Мы поговорили с ней, поделились последними новостями. Оба мы по-настоящему радовались, что видим друг друга - какими ни на есть, худыми и бледными, но живыми. Ведь не всякому выпала эта радость.

Когда мы уже простились, Маринка снова окликнула меня.

- Дядя, - сказала она, смущённо улыбаясь, - знаете что, хотите, я вам спляшу?

- Ого! — сказал я. — Ты уже можешь плясать?

- Немножко могу. Но только не здесь. Пойдёмте знаете куда? На задний двор, около помойки...

- Нет, Мариночка, не надо, - сказал я. - Побереги силёнки - они тебе ещё пригодятся. А спляшешь ты мне знаешь когда? Когда мы доживём до победы, когда разобьём фашистов.

- А это скоро? Я сказал:

- Да, скоро.

И, сказав это, я почувствовал, что беру на себя очень большое обязательство. Это была уже не игра - это была присяга.

Пантелеев Л. Маринка/ Л. Пантелеев//Рассказы.-М.: Эксмо, 2007.-С.72-82